



К 90-летию со дня рождения С. Есенина

Сергей Дмитриевич Спасский (1898—1956) прожил большую жизнь в советской литературе. Его первая книга стихов «Как снег» вышла в 1917 году в московском издательстве «Млечный Путь», выпускавшем также еженедельный журнал. Последний известен ныне благодаря тому, что в его мартовской книжке за 1915 год впервые опубликована одна из жемчужин есенинской лирики — стихотворение «Выткался на озере алый свет зари...».

Семнадцать книг стихов и прозы принадлежат перу С. Спасского. В том числе — книга воспоминаний «Маяковский и его спутники».

С Есениным Спасский познакомился в 1918 году. В ту пору С. Есенин вместе с А. Белым, П. Орешниковым, С. Клычковым и Л. Повицким организовали кооперативное издательство

«Московская Трудовая Артель Художников Слова». В рекламном объявлении в числе книг, намеченных к выпуску, значилась и книга Спасского. Но издательство вскоре прекратило свое существование (в нем успели выйти только книги Есенина и Клычкова). Поэты «встретились» на страницах сборника «Явь», увидевшего свет в начале 1919 года: здесь были напечатаны «Преображение» Есенина и глава «Эти секунды» из поэмы Спасского «Рупор над миром».

О Есенине и его творчестве Спасский не раз писал в своих статьях, в 1955 году им написанное стихотворение «Сергею Есенину». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей еженедельника страницы его воспоминаний о поэте.

дома, в завихрении мыслей и образов. Действие происходит в округлой небольшой комнате на углу здания из серого камня с колоннами, зачем-то оплетенными жгутами, здания, может, самого нелепого во всей старой Москве. В этом особняке... с весны восемнадцатого года помещалась «Пролеткульт». Туда сходилась рабочая молодежь, наполняя всевозможные студии, где отдельные известные мастера... обучали начинающих основам искусства. Там можно было спокойно посидеть... почитать стихи, потолковать на темы, связанные с художественным творчеством. И в таком застекленном фойе с высокими просторными окнами разговаривают Есенин и А. Белый.

Белый только что закончил лекцию по основам стихосложения в литературной студии, помещавшейся во втором этаже. Он зашел сюда отдохнуть и покурить. Есенин заглядывает сюда часто. Как везде, у него все тут приятели, молодые поэты из рабочих и те, кто мыслит себя представителями революционного крестьянства... И он распространяется о том, что пролетарское искусство — это правильно, но ведь Россия — крестьянская страна, и крестьян в ней больше, чем рабочих. Следовательно, надо, чтоб в дополнение к «Пролеткульту» был организован «Крестьянокульт». Он

В июне или июле 1921 года я увидел Есенина после значительного промежутка. Он вернулся из путешествия по Волге и Уралу с новой поэмой и выступал в Доме печати.

...Вдали на пустой широкой сцене виднелась легкая фигура Есенина. Он одет был с тем щегольством, какое было присуще ему в имажинистский период. Широкая, свободная сшитая темная блуза, что-то среднее между пиджаком и смокингом. Белая рубашка с галстуком-бабочкой, лакированные туфли. Полы его блузы развевались, когда он перебежал с места на место. Иногда Есенин замирал и останавливался, и обдумывался всем телом вперед. Все время вспыхивали в воздухе его руки, взлетая, делали круговые движения. Голова то громыхала и накатывалась, то замирал, становясь мягким и проникновенным. И нельзя было оторваться от течения, с такой выразительностью он не только произносил, но разыгрывал в лицах весь текст.

Вот пробивается вперед охрипший Хлопуша, расталкивая невидимую толпу. Вот бурлит Пугачев, приказывает, требует, убеждает, шлет проклятия цариче. Не нужно ни декораций, ни грима, все определяется силой ритмизованных фраз и яркостью непрерывно льющихся жестов, не менее необходимых, чем слова. Одним человеком на пустой сцене разыгрывалась трагедия, подлинно русская, лишенная малейшей стилизации.

И когда пронесли последние слова Пугачева, задыхающиеся с трудом выскальзывающие из стиснутого отчаянием горла: «А казалось... казалось еще вчера... Дорогие мои... Дорогие... хорошие...», зал замер, захваченный силой этого поэтического и актерского мастерства, и потом все рухнуло от аплодисментов. «Да это же здорово!» — выкрикнул Пастернак, стоявший поблизости и бешено хлопавший. И все ринулись на сцену к Есенину.

А он стоял, слабо улыбаясь, пожимая протянутые к нему руки, сам взволнованный поднятой им бурей.

Есенин жил в одном из переулков в районе Большой Дмитровки... Запомнилась просторная комната, светлая, аккуратная и просто обставленная. Вся квартира казалась спокойной, никаких признаков того, что здесь обитают имажинисты. На стене над кроватью цветной рисунок: Есенин во фраке и цилиндре с огромным цветком в петлице стоит под руку с козой, одетой в белое венчалное платье... Шутка, навеянная строчками одного из есенинских стихотворений. Мы должны были идти на вечер Блока, Мариенгоф почему-то отсутствовал, мы основательно заговорились.

Собственно, как бывало обычно, говорил Есенин... Всегда интересны были возникающие на глазах мысли, и казалось, что они обращены непосредственно к вам.

В значительной степени сила воздействия Есенина на окружающих объяснялась именно тем, что, и читая стихи, и разговаривая, он каждому слушателю словно открывал себя до конца. Маяковский, выступая, обращался к массе, Есенин — к отдельному человеку. Каждый как бы становился личным другом Есенина, даже сидя в многолюдной аудитории. Такое свойство особенно проявлялось в непосредственном разговоре. Создавалось впечатление, что именно в данном случае Есенин исключительно открыт. Талант общительности, редкий как всякий талант и так же не вполне объяснимый. И трудно представить Есенина в одиночестве, без зачарованных слушателей. Вероятно, один он себя чувствовал неутоян, за исключением, может быть, часов, когда он писал стихи.

В то лето он был удивительно счастливым, уверенным, полным упругих жизненных сил.

Наш разговор не имел ясных очертаний и мог бы длиться без конца. Было поздно, когда мы спохватились и побежали по улицам в Дом печати. Есенин был без шляпы с раздувающимися кудрями, жестикулируя, что-то продолжал объяснять. И когда добежали мы до перепол-

Сергей СПАССКИЙ НАБРОСКИ СО СТОРОНЫ

Я НЕ БЫЛ с ним близок, но видел его много раз. Он связан с давней Москвой первых лет революции. Особенно с Тверской улицей...

На этой улице и в ближайших ее окрестностях находились пристанища поэтов. Одно — кафе «Бом» — на вершине холма вблизи Страстной площади, другое — кафе «Домино» — чуть пониже Камергерского переулка. И наскучив сидеть в одном помещении, поэты передвигались в другое, иногда отлекаясь в сторону Тверского бульвара, где происходили ежевечерние заседания различных литературных объединений, в отдаленном писателям особняке в глубине двора, обсаженного старыми липами. Если прибавить к этому, что на Тверской, поблизости от здания Моссовета, помещалась книжная лавка Союза писателей, где за прилавками всегда дежурили литераторы, и окна которой были заклеены листочками с оповещениями о предстоящих в различных местах чтениях, выступлениях и диспутах, станет понятно, что нельзя было пройти по Тверской, не натолкнувшись на представителей всяческих поэтических школ. И легко представить, как из бокового переулка, либо со стороны Большой Дмитровки, где он проживал, либо со стороны Большой Никитской, где обосновалась книжная лавка имажинистов, выбегала легкая фигура молодого человека среднего роста в пальто с широко меховым воротником, с глянцевым цилиндром на голове... К нему привыкли, его узнавали сразу, не удивляясь его причудливой внешности. Казалось, он знаком со всей улицей, с ним здоровались, его окликали по имени, смотрели вслед ему, одобрительно улыбаясь, считая, что этому человеку позволено одеваться, как ему заблагорассудится, жить по своему усмотрению, так как это — поэт, Сережа Есенин, строчки которого каждый был в состоянии повторить...

Это, вероятно, объясняется неоспоримым обаянием его личности. При первом взгляде на него побеждала его открытая талантливость. Манера говорить, двигаться, поворачиваясь, мягкость улыбки. Можно было ни в чем с ним не соглашаясь, что не имело значения. Все равно оставалось впечатление чего-то яркого, праздничного, полного неисчерпаемых сил. Талантливость, не погребенная в глубине, а щедро рвущаяся наружу. Даже если он проявлял себя очень скромно, как бы приглушая все краски своего существа. А это за ним водилось, и именно таким он запомнился мне в первый раз.

Дело было в кафе «Савой» на Софийке весной 1918 года. Там тоже выступали поэты, как и во многих других кафе. Трудно сейчас объяснить, что заставляло разношерстную публику слушать стихи в то тревожное время, а также самих поэтов кочевать по разным эстрадам. Ведь этим занимались не только молодые, ищущая скромных заработков и популярности. Так выступал и Валерий Брюсов, а в том же «Савое» — Андрей Белый...

И там же на низкие подмостки поднялся Есенин, бледный, худощавый, молодой, в узеньком пиджаке, белой рубашке с аккуратно повязанным галстуч-

ком. Постоял, склонив белокурую голову надок, разглядывая сидевший за столиком народ. Он не пустился в разговоры и начал читать стихи. Спокойные ясные строки из первого периода его творчества. Произносил слова очень просто, не нараспев, как читали тогда многие. Слегка улыбаясь, переводя взгляд от слушателя к слушателю, будто обращаясь к каждому отдельно. Негромкий голос, покой во всем облике, темперамент убранный, почти полное отсутствие жеста. Я еще не знал тогда, что, читая стихи, Есенин полностью проникается ими. Он был тихим тогда потому, что читал тихие строки. Кончил, ничего не подчеркивая, степенно поклонился и спустился с подмостков к столу. Там сидели другие поэты, и он представился всем, пожимая руки...

Но кротостью не исчерпывался его облик. Вечером через несколько дней в другое подобное же литературное заведение забежали близкие Есенина, растерянно разыскивающие его. Сергей исчез, не являясь домой, где он — неизвестно. И в квартире одних знакомых я наткнулся на него вторично.

Он раньше не бывал там никогда, и трудно сказать, что его туда занесло. Но это не имело значения, ведь он чувствовал себя дома... Он мог нестись, как метеор, сквозь квартиры, улицы, общественные места. И всегда за ним следовал хвост людей, увлеченных его движением.

Хозяин встретил меня впереди. — Проходите скорей. У нас Есенин. Говорит замечательно интересно.

В первой комнате люди прислушивались к тому, что происходило во второй. Там на низком диванчике, окруженный так, что ему трудно повернуться, сидел Есенин — стремительный и взволнованный. Встряхивал головой, быстро поворачивая возбужденное лицо. Люди теснились вокруг, казалось, нависали над ним. Он словно захлебывался от воодушевления, освещенный светом настольной лампы, в кругу людей, которых завтра бы не узнал.

Конечно, он говорил о поэзии, о силе и яркости русского слова. Теории возникали у него на ходу, он их импровизировал, думая вслух...

В тот вечер он читал «Инонию». Это были стихи другого строя, чем те, какие я слышал недавно. Они читались совсем по-другому, более низким, собранным, твердым голосом. Рука выбрасывалась вперед, рас-

секая воздух короткими ударами. Все лицо стало жестким, угрожающим. Он обвинял и требовал ответа. Отрывистый взмах головы, весь корпус наклоняется вбок и вдруг выпрямляется, как на пружине. «И тебе говорю, Америка, отколота половиной земли...». Он выдвигается вперед, вытянув руку над чем-то лежащим перед ним, «страшиться по морям безверия железные пускать корабли!» Глаза сосредоточенные и сверкающие... Кажется, погрохотывает гроза, разбрасывая острые молнии. И все это происходит на маленьком шатком диванчике, с которого он не встает, создавая впечатление величия и грозной торжественности только незначительными перемещениями своего упругого, будто наэлектризованного тела. И окружающие подчиняются безраздельно не только силе стиха, но и силе личности, так резко и неоспоримо выступающей из общего ряда.

Но не только яростную проповедь, Есенин любил мирную беседу. Процесс раскрытия мыслей в словах, неожиданные повороты речи. Суждения, постепенно возникающие и удивляющие самого говорящего своей новизной. И он ценил собеседника, обладающего теми же качествами.

Вот они сидят друг против друга два поэта разного возраста, представители разных поколений и школ, люди различных биографий и мировоззрений, но оба умеющие говорить и чувствующие себя, как

об этом говорил уже на верхах, он готов возглавить такое движение. И как бы подчеркивая свою приверженность к этой идее, Есенин одет сейчас в синий кафтан, сшитый из тонкого сукна, расстегнутый так, что видна белая русская рубашка, перехваченная поясом с кистями.

Есенин лукаво поглядывает на Белого, а тот рассказывает о готовящемся альманахе под странным названием «Змий», где можно будет изложить соображения, какие Есенин увлекают. Разговор касается подбора стихов. Подчеркивая слова широкими легкими жестами, Белый говорит о процессе творчества столь знакомом ему и все-таки непонятном.

— Стихотворения — это не ребенок, который появляется на свет головой вперед, — звучит его глуховатый, но сильный голос и пристально фиксирует собеседника взгляд ярко вспыхнувших голубых глаз, — оно может проснуться рукой или ногой, или сразу обнаружить туловище. Стихи рождаются и с середины, и с конца.

И Есенин подхватывает эти слова с почтительным и удовлетворенным видом...

И вместе проходят они к выходу, Белый в широкой темной шляпе, похожий на профессора германского университета, и рядом тоненькая фигурка в синем, чересчур дорогом для деревни, якобы крестьянском, одеянии. Из «Крестьянокульта» ничего не вышло, не состоялся и «Змий»...



Сергей ЕСЕНИН на открытии памятника А. Кольцову. 3 ноября 1918 года.

ненного зала, прямой, неподвижно стоящий Блок читал последнее стихотворение.

...В последний раз я видел Есенина вскоре после его возвращения из-за границы. Дело происходило в «Домино», последнем кафе уже завершавшегося устного периода нашей поэзии...

В тот вечер я был дежурным. Вошел кто-то из служащих и сказал, что за отдельной загородкой сидит Есенин с компанией. Идет беспокойный разговор, и неизвестно, чем он кончится. Я направился к месту действия. До меня донесся голос Есенина.

Знакомый голос с отчетливыми интонациями, с тяжело падающими словами. Хриплый и потому более низкий, взбудораженный и возмущенный. Открыв дверь, я увидел сидящих, все они были не в себе. Есенин негодовал и кричал. Он словно обрадовался, когда я с ним поздоровался, увидев знакомое лицо.

Почему-то одиноким и чужим казался он в своем случайном окружении. Мы отошли в сторонку, и я старался его успокоить. «Сергей Александрович, стоит ли волноваться?» — таков был смысл моих слов... — «Вот Вы вернулись, Вы здесь дома, Вы знаете, как все Вам рады, как все Вас любят...» Я сам был взволнован, и мне хотелось ему сказать что-то хорошее. Он продолжал еще жаловаться и возмущаться, но вышел в залу и присел в стороне... Он сидел, ни на кого не оглядываясь, будто в забытьи. Но его, конечно, узнали, повернулись к нему. Раздались приветствия, аплодисменты, просьбы прочесть стихи.

Есенин медленно встал и с трудом пошел между столиков. С усилием поднялся по ступенькам, взобрался на подмости и остановился... Слегка наклонил голову и тихо произнес первые слова:

*Годы молодые
с забубенной славой.
Отравил я сам вас*

горькою отравой.

Голос был еле слышен, надорванный, утомленный. Но сразу в зале все замерли, принимая каждое слово. Он улыбнулся, чуть тряхнул головой и прочел второе двустишие. И так всегда это происходило с ним, казалось, что стихотворение рождается именно сейчас. И это не стихи, а открытый рассказ о себе, интимная беседа с каждым слушателем. Лирика, лишенная всех прикрас, полная, все покоряющая искренность. Лирика беспощадная и самому себе, правдивая без рисовки, какой была и лирика Блока. И так всегда это бывало, стихотворение словно подкрепило его. Он выпрямился, как бы опираясь на строчки, на главную опору в жизни. И при этом креп его голос, прорвавшись сквозь мутную хрипоту. И когда дошел он до строк:

«Ты, ямщик, я вижу, трус.

Это не с руки нам».

Взял я кнут и ну стегать

по лошажьим спинам,

— он выкрикнул их с задорной силой, со все опрокидывающей уверенностью... И вдруг, после безудержного полета, он остановился и в недоумении развел руками:

— ...Что за черт?

— огляделся он, говоря совсем просто,

вместо бойкой тройки...

Забинтованный лежу

на больничной койке.

Но тут не было отчаяния, а удивленная усмешка надо всем, что с ним произошло. Усмешка над собственной слабостью, и отсюда надежда, что все кончится благополучно.

И от всего в целом вахнуло Россией со всеми ее взлетами и обрывами, Россией, какую он нес в своей крови и природу которой так умел выражать.

Больше он не читал и со слабой улыбкой, сам растроганный не то бешеными аплодисментами, не то собственными, только что прочитанными стихами, пробрался среди людей, смотревших на него с благодарностью и восхищением, и, надев свою чужестранную шляпу, спустился к выходу на ночную московскую улицу...

Публикация
Юрия ЮШКИНА